

18+

Сегя Сашин

18+

ГЛИНА

ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА



Кто надел
ее добровольно
тот уже
выбрал
глину

Глина
не лжет.
Она не говорит
правду.
Она — память.
А память
всегда
субъективна.



Сега Сашин

Глина. Хоррор/Ужасы

«Издательские решения»

Сашин С.

Глина. Хоррор/Ужасы / С. Сашин — «Издательские решения»,

Лев Харитонов — архивист из маленького города Слободской. Однажды он находит в старом шкафу папку с документами 1868 года. В них говорится о женщине, которая стала глиной. Глина приходит в подпол его дома. Она забирает воспоминания. Сначала имена. Потом лица. Потом голоса. Чтобы спасти дочь, Лев должен выбрать: остаться в тепле глины с ней — или вернуться наверх, в холод, но помнить о ней всегда. Выбор между памятью и любовью нельзя сделать один раз. Его делают каждую ночь.

© Сашин С.

© Издательские решения

Содержание

ГЛИНА	6
Внимание! 18+	6
ГЛИНА	7
ПРАВИЛА ГЛИНЫ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРХИВИСТ	8
Глава 1	8
Глава 2	9
Глава 3	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Глина Хоррор/Ужасы

Сега Сашин

Дизайнер обложки Сергей Юрьевич Гурьянов

© Сега Сашин, 2026

© Сергей Юрьевич Гурьянов, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-3562-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛИНА

Сега Сашин

Внимание! 18+

Книга содержит сцены психологического ужаса, темы утраты ребёнка, утраты личности, потери памяти, а также эпизоды с визуально тревожными образами (бесплотные фигуры, скрежет, телесные изменения). Все персонажи, события, географические названия и организации, упомянутые в романе, являются вымышленными. Любые совпадения с реально существующими людьми, живыми или умершими, а также с реальными событиями и организациями — случайны.

Автор не рекомендует книгу для чтения лицам младше 18 лет.

ГЛИНА

ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА

ПРАВИЛА ГЛИНЫ

Составлено на основе показаний. Подлинность не установлена.

1. Глина появляется в подвальных помещениях рядом с теми, кто хранит чужие воспоминания: архивариусами, историками, следователями, писателями. Чем больше чужой памяти человек держит при себе, тем легче глине найти вход.

2. Глина забирает память прежде тела. Сначала исчезают имена, затем лица, затем голос. Когда человек больше не может назвать себя, начинается полный переход.

3. Запись — якорь в реальности. Пока человек пишет или печатает сам, глина не может войти полностью. Но она может отвечать через текст.

4. Из глины нельзя выйти целиком. Можно вернуться частично, оставив ей тело, память, имя или голос. Полный выход возможен только если кто-то добровольно займёт твоё место.

5. Красная лента — приглашение и метка, но не сама ловушка. Лента опасна в тот миг, когда человек принимает её как свою: тогда дверь открывается. Окончательный выбор глина требует позже.

6. Колокольчик слышат только те, кого глина уже «отметила». Чем ближе конец — тем громче звон.

7. Глина не даёт тепла. Она даёт отсутствие холода. Любовь и тепло — не одно и то же.

8. Глина не лжёт. Она не говорит правду. Она — память. А память всегда субъективна.

9. Не называй глине своё имя добровольно. Не отвечай именем на её зов. Пока человек сам не отдаёт имя, оно остаётся его последним якорем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРХИВИСТ

Глава 1

Катя прыгнула ему на живот в 7:03.

— Папа, поливать!

Лев не открывал глаз. Под веками плавало красное. Он знал: это не от усталости. Это от того, что дед называл «близким зрением в темноту». Способность видеть пульсацию за закрытыми веками. Дед говорил, что это дар. Лев считал это проклятием.

— Кактус, Кать. Он раз в месяц.

— Он засохнет!

— Он кактус. Он создан засыхать.

Катя замерла. Обдумывала. Лев знал: через три секунды либо слёзы, либо философский вопрос. На четвёртой она спросила:

— А люди созданы умирать?

Он открыл глаза. Дочь стояла в пижаме с единорогом, волосы стояли дыбом, на щеке — след от подушки. Двенадцать лет. Уже задаёт вопросы, на которые нет ответов. Или есть, но он боится их произносить.

— Некоторые — да, — сказал он. — А некоторые — нет. Те, кто оставляет память, не умирают.

— Ты про бабушку?

— Не знаю, про кого я.

Он сел. Взял горшок с кактусом. Подошёл к окну. Ноябрьский Слободской за стеклом — серый, как глина. Снег выпал в октябре, растаял, выпал снова — теперь лежал грязными клочьями на газонах. На крыше соседнего дома — чёрная ворона. Смотрела прямо на него.

Полил.

— Хватит! Он захлебнётся!

— Ты хотела полив.

Катя надула губы. Потом поцеловала его в плечо и убежала.

Лев остался у окна. Кактус стоял на подоконнике. Маленький, колючий, живучий.

Ему показалось, что земля в горшке шевельнулась.

Он моргнул.

Нет, не показалось. Она шевельнулась. Медленно, вязко, как что-то, что не должно быть в горшке.

Он протянул руку, чтобы потрогать.

Не дотронулся.

Что-то остановило его. Не страх. Память. Дед говорил: «Никогда не трогай землю, которая дышит». Лев тогда не понял. Сейчас понял.

Он убрал руку. Вышел из кухни.

За завтраком Нина спросила:

— Ты чего такой бледный?

— Не выспался.

— Ты вообще спишь?

— Сплю.

Она посмотрела на него. Не поверила. Но спорить не стала. У неё была работа, у Кати школа, у Льва — архив. Обычное утро.

Глава 2

Краеведческий музей Слободского помещался в купеческом особняке на Советской. Стены толщиной в аршин. Паркет, который скрипел так, будто под ним кто-то ходил. И ходил. И не мог остановиться. Лев любил это место. Здесь пахло пылью и вечностью. Здесь время текло иначе — медленнее, чем в городе.

Он работал здесь с 2005 года. Сначала на полставки. Потом на треть. Потом без ставки — на энтузиазме и редких грантах от университета, которые выделяли раз в три года, если везло.

Он стал архивистом не потому, что любил пыль. Пыль он, если честно, терпеть не мог. Она забивалась под ногти, ложилась на очки, садилась на язык серым привкусом старой муки. Но в пыли было главное: она ничего не требовала. С ней можно было молчать.

После университета Лев собирался уехать в Киров. Потом — в Пермь. Потом куда угодно, лишь бы не оставаться в городе, где каждый второй знал, как умер его дед, как болела мать и почему Харитоновы всегда жили на Советской, возле музея, будто их туда прибили гвоздями.

Дед не держал его словами. Дед вообще редко держал словами. Он просто приводил Льва в запасники, ставил перед шкафами и говорил: «Смотри. Пока это лежит здесь, люди не исчезли совсем».

Лев тогда смеялся. Ему было семнадцать, и он считал, что исчезнуть — это уехать. Купить билет, сесть в автобус, не отвечать на звонки. Дед смотрел на него поверх очков и говорил: «Нет, Лёва. Исчезнуть — это когда о тебе некому вспомнить правильно».

Когда дед умер, Лев впервые понял архив. Не документы. Не описи. Не карточки с выцветшими фамилиями. А то место между человеком и пустотой, куда кладут имя, если больше некуда.

Мать умерла позже. Быстро. Некрасиво. Больничная тумбочка, стакан с водой, чужие тапочки у кровати. На похоронах Лев не плакал. Он стоял и повторял про себя её отчество, дату рождения, номер палаты, название лекарства, которое ей не помогло. Боялся забыть хотя бы одно слово. Боялся, что если забудет — она умрёт второй раз.

В тот год он и остался в музее окончательно.

Нина появилась там случайно. Пришла писать заметку для районной газеты: «Молодой специалист сохраняет историю города». Лев ненавидел такие заголовки заранее. Она принесла диктофон, блокнот и пирожок с капустой в бумажном пакете. Диктофон не включился. Батарейки сели. Она засмеялась и сказала: «Значит, будете говорить честно. Техника не запомнит».

Он тогда впервые за много месяцев рассмеялся.

Потом они сидели под старой липой во дворе музея. Был май, но вечер уже пах снегом — в Слободском даже весна умела быть ноябрьской. Нина слушала, как он рассказывает про купцов Вяткиных, про пожар 1903 года, про деревню, которой больше нет на карте. Слушала не из вежливости. По-настоящему.

— Ты говоришь о мёртвых так, будто они тебе родственники, — сказала она.

— Они и есть родственники, — ответил Лев. — Просто чужие.

Она посмотрела на него и не испугалась. Вот за это он её и полюбил.

Квартира на Советской досталась от деда. Подпол по старым документам числился частью квартиры, хотя дом давно жил по другим правилам: кто первый поставил замок, тот и хозяин. Лев не спорил. Ему нравилось думать, что под полом лежат картошка, банки, инструменты и дедовские железки. Простые вещи. Немые вещи.

Он не уволился не потому, что не мог. Мог. Несколько раз собирал заявление. Держал в ящике стола, под пачкой бланков. Но каждый раз, когда хотел подписать, вспоминал дедову фразу: «Если уйдёшь ты — кто будет помнить правильно?»

И оставался.

В вестибюле его встретила Марья Ивановна. Соседка снизу. Жила под ними двадцать лет, никогда не поднималась выше первого этажа.

— Лев, ты чего бледный? — спросила без «здравствуйте». — У тебя подпол в порядке?

— В порядке.

— Моя кошка третью ночь туда смотрит. Сидит у люка и шипит. Я боюсь спускаться. Муж умер в прошлом году. Не с кем.

— Не спускайтесь.

— А ты спустишь. Посмотри.

— Посмотрю.

Марья Ивановна кивнула. Сунула ему в руку банку с солёными огурцами. — На. Крепкие. Пригодятся.

— Для чего?

Она не ответила. Ушла, не закрыв дверь.

Запасники были в подвале. Лев никогда туда не спускался. Дед запретил. «Там нечего смотреть, Лёва. Там только глина». Лев не понимал, что это значит. Но запрет помнил.

Он прошёл в архив. Комната на втором этаже, окно во двор, за окном — старая липа, которой приписывали двести лет. Местные говорили: липа посажена в год основания города. Лев не проверял. Ему нравилось верить.

Он открыл форточку. Запахло снегом и бензином. И чем-то ещё.

Сладким.

Он принялся.

В первый раз за двадцать лет.

Лев потерял нюх в восемнадцать. Не сразу. Сначала просто притупился. Потом он перестал чувствовать духи Нины. Потом — запах цветов. Потом — дым. К тридцати он не чувствовал ничего. Нюха не было. Врачи разводили руками: «Курите?» — «Курю». — «Бросайте». Он бросил. Не помогло.

Запах из форточки он почувствовал.

Мёд.

Не тот, что в банках. Не тот, что на рынке. Тот, что бывает только в детстве — когда бабушка открывала погреб, и оттуда тянуло чем-то древним, сладким, немного гнилым. Тот, который помнишь телом, а не носом.

Он высунулся в окно. Внизу — пустой двор. Снег. Следы птиц. Ничего.

Он закрыл форточку. Запах исчез.

«Показалось», — подумал Лев.

Он сел за стол. Читателей не было. Три курсовые из Кирова, видимо, застряли в автобусе. Он налил чай из термоса. Чай остыл за пять минут — в архиве всегда было холодно. Окна выходили на север, батареи грели через раз, и только старая липа за окном напоминала, что за стенами есть жизнь.

Он встал. Потянулся. Пошёл в дальний угол.

Там стояли старые шкафы. Дерматиновые, с советских времён. Ручки выщерблены. На дверцах — номера, которые никто уже не расшифрует. 17—3. 18—12. 45-а. Лев знал: 45-а — дело геологов из Шушмора. 18—12 — опись имущества купцов Вяткиных. 17—3 — пусто.

Первый шкаф. Пыль. Мышиный помёт. Газеты 1973 года. «Правда». «Кировская искра». На первой странице — космонавты. Лев помнил эту газету. Дед показывал.

Второй. Почти пустой. Три папки с документами 1980-х. Ничего интересного.

Третья дверца — подвязана верёвкой. Старой, выцветшей, узлы затянуты так, что не развязать без ножа. Лев достал перочинный нож (подарок деда, на лезвии выгравировано «Л.Х.

1985»). Разрезал верёвку. Дёрнул. Дверца открылась с мокрым звуком. Кто-то облизал её изнутри.

Он замер.

Ничего. Просто звук. Старое дерево. Сырость.

Он посветил телефоном.

На верхней полке, придавленная стопкой «Кировской правды» за 1995 год, лежала папка. Картонная, тёмно-зелёная. Корешок сгрызен мышами. Осталась только надпись: «...кина». И цифры: «1873».

Он достал.

Папка была тёплой.

Не от батареи (батарей в архиве не работали). Не от солнца (солнце не заглядывало сюда никогда). Тёплой, как если бы кто-то держал её в руках за секунду до него.

Он открыл.

Запах ударил в лицо. Мёд. Тот самый. Из форточки. Из детства. Из погреба, которого не существовало уже тридцать лет.

Он сел на пол. Очки. Достал очки. Руки не дрожали — они замерли.

Первый лист. Крупный каллиграфический почерк:

«Протокол сельского схода деревни Берёзовки. 15 мая 1868 года».

Чернила выцвели, но буквы читались. Бумага была плотной, с водяными знаками — «Екатеринбургская фабрика». Лев знал эту бумагу. На ней печатали официальные документы в губернии.

Он начал читать.

Глава 3

«Слушали: о явлении Евдокии Прокиной (вдовы, 37 лет), прозываемой Чёрная Дуня, в облике пса чёрного.

Указали: согласно показанию крестьянина Филиппа Семёнова, она Евдокия после полуночи является к домам и наносит порчу.

Облик её таков: пёс чёрный, ростом с телёнка, глаза красны, как угли из печи. А сзади — хвост. Не звериный — как женская коса, заплетённая в три пряди, с лентой красной на конце. И на конце косы — бубенец. Маленький. Когда она бежит — молчит. Когда стоит — звенит.

Кого обнюхает — тот вскоре отдаст душу.

Кого лизнёт — начнёт в себя смотреть и смеяться до утра.

А у кого на шее красная лента — того уводит в баню».

Лев перечитал три раза.

Заломило затылок. Он не заметил, как перестал дышать. Воздух в архиве стал густым, как кисель. Он сделал вдох — и почувствовал, что лёгкие наполнились не воздухом, а запахом мёда.

Дальше — ещё два протокола. Почти такие же. Только в третьем — приписка:

«Порешили: изгнать Евдокию из деревни. А понеже она заперлась в бане, дверь не открывает, то мужикам сходить с баграми и иконой Казанской Божьей Матери».

Он отложил протоколы. В папке лежали ещё два документа.

Первый — от руки Герасима Прокина, сына. Написано аккуратно, учителем. Буквы выведены с нажимом, как будто Герасим боялся, что слова сотрутся, если давить слабее.

«Мать моя более не человек. От неё идёт звук. Бубенец под землёй — так звенит колокольчик, когда в прорубь упадёт. Если открыть дверь — все услышат. А кто услышит — тот свой срок узнает. Я просил её уйти по-хорошему. Она сказала: „Я уже ушла, сынок. Осталось только тело“. Я спросил: „Куда ушла?“ Она сказала: „В землю. Туда, где все помнят всех. Я стану памятью“. Я не понял. Теперь начинаю понимать».

Второй — земский врач Чебыкин. Почерк мелкий, нервный, срывающийся вверх в конце каждой строки. Бумага в пятнах — то ли чай, то ли слёзы, то ли что-то ещё.

«Освидетельствование пациентки Прокиной.

Тело тёплое, пульс отсутствует. Глаза открыты, зрачки реагируют на свет. Дыхание редкое — один вдох на три минуты.

На груди — тридцать три лоскутка с датами. Самая ранняя — 1825. Самая поздняя — завтрашняя.

Я спросил: что это?

Она ответила: «Дни, доктор. Когда вы умрёте — я отмечу».

Я спросил: «А зачем вам дни?»

Она сказала: «Чтобы помнить. Я — архив. В глине всё сохраняется. Даже то, что никто не хотел помнить».

Глаза у неё — серые. Как глина. Я таких глаз не видел ни у живых, ни у мёртвых. Она смотрела сквозь меня. В то место, где я буду через сорок лет. Наверное, в глину».

Лев положил письмо на пол. Посидел.

Тридцать три лоскутка. Тридцать три дня. 1825 — год, когда? Он не знал. Завтрашняя — сегодня? Или уже прошла? Или ещё не наступила, но уже отмечена?

Потом заметил в папке ещё один лист. Не жёлтый, как остальные. Белый. Плотный. С водяными знаками — современная бумага.

Почерк — аккуратный, женский, с петлёй в букве «я». Так пишут учителя. Или те, кто привык писать много и быстро.

«Лев Харитонов. Ты взял эту папку. Не закрывай.

Я знаю, что у тебя нет нюха, но ты почувствовал мёд. Это я.

Я здесь давно. С 1868 года. Или дольше. Я не помню.

Твой дед, кстати, тоже меня чувствовал. Он умнее был — не открыл. Прочитал только первую страницу, побледнел, закрыл папку и завязал шкаф верёвкой. Той самой, которую ты разрезал.

А ты открыл.

Допиши до конца, Лев. Не бросай на полпути.

Там Катя».

Подпись: «Е.П. 1868».

Он уже потянулся к телефону, чтобы позвонить Нине. Сказать всё сразу: папка, Дуня, Катя, красная лента, мёд. Но в голове всплыл голос деда — не воспоминание даже, а заноза под кожей: «Не отдавай ей голос. Не называй своё имя, когда она зовёт».

Пока он молчит, это бумага. Бред. Старый архивный мусор. Если произнесёт вслух, выпустит это в дом. Даст ему не слух — голос. А голос, как знал каждый архивариус, опаснее подписи.

Лев сидел на полу архива. Дышал. Медленно, глубоко, как учили на йоге, которую Нина смотрела по телевизору по утрам в выходные. Счёт до десяти. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Четыре, пять, шесть.

Ничего не помогало.

— Бред, — сказал он вслух. Голос не дрожал. Голос был спокойным. Слишком спокойным.

Он закрыл папку. Встал. Взял её, вышел на улицу. За углом музея стояла железная бочка для мусора. В ней всегда жгли старые газеты. Спички были в кармане.

Он чиркнул. Поднёс к углу папки.

Папка не загорелась.

Он чиркнул ещё раз. Ещё. Бумага пахла мёдом и отсыревшим подвалом, но не занималась. Спички гасли за миллиметр от картона, как будто воздух вокруг папки был другим. Не тем, что поддерживает горение. Тем, что помнит.

Он положил папку в бочку. Вылил остатки кофе из термоса. Потом вернулся в архив, взял огнетушитель, вышел, облил пеной всю бочку. Папка внутри промокла, но когда он достал её — бумага была сухой. И тёплой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.